# Мэйхью

# Уильям Сомерсет Моэм

Перевод с английского В. Ашкенази

Жизнь большинства людей определяется их окружением. Обстоятельства, в которые ставит их судьба, они принимают не только с покорностью, но и охотно. Они похожи на трамваи, вполне довольные тем, что бегут по своим рельсам, и презирающие веселый маленький автомобиль, который шныряет туда-сюда среди уличного движения и резво мчится по деревенским дорогам. Я уважаю таких людей: это хорошие граждане, хорошие мужья и отцы, и, кроме того, должен же кто-то платить налоги; но они меня не волнуют. Куда интереснее, на мой взгляд, люди — надо сказать, весьма редкие, — которые берут жизнь в руки и как бы лепят ее по своему вкусу.

Может быть, свобода воли нам вообще не дана, но иллюзия ее нас не покидает. На развилке дорог нам кажется, что мы вольны пойти и направо и налево, когда же выбор сделан, трудно увидеть, что нас подвел к нему весь ход мировой истории.

Я никогда не встречал более интересного человека, чем Мэйхью. Это был адвокат из Детройта, способный и преуспевающий. К тридцати пяти годам он имел большую и выгодную практику, добился независимого материального положения и стоял на пороге великолепной карьеры. Он был умен, честен, симпатичен. Ничто не мешало ему стать видной фигурой в финансовом или политическом мире.

Как-то вечером он сидел у себя в клубе с друзьями; они немного выпили. Один из них, только что побывавший в Италии, рассказал о доме, который он видел на Капри, — это был дом в большом тенистом саду на холме над Неаполитанским заливом. Выслушав описание красот самого красивого острова в Средиземном море, Мэйхью сказал:

— Звучит превосходно. А этот дом продается?

— В Италии все продается.

— Пошлем им телеграмму, предложим цену.

— А что, скажи на милость, ты будешь делать с домом на Капри?

— Буду в нем жить, — сказал Мэйхью.

Он послал за телеграфным бланком, заполнил его и отправил. Через несколько часов пришел ответ. Предложение было принято.

Мэйхью не был лицемером и не скрывал, что в трезвом состоянии никогда не совершил бы такого безумного шага, но, протрезвившись, он не жалел об этом. Он не был ни импульсивен, ни излишне эмоционален, это был очень честный и искренний человек. Мэйхью не стал бы упорствовать из чистой бравады, если бы, подумав, расценил свой поступок как безрассудный. Но тут он не счел нужным менять принятое решение. За большим богатством он не гнался, а на то, чтобы жить в Италии, денег у него было достаточно. Ему пришло в голову, что, пожалуй, не стоит тратить жизнь на улаживание мелких дрязг незначительных людей. Никакого определенного плана у него не было. Просто ему захотелось уйти от привычной жизни, потерявшей для него всякий интерес.

Друзья, вероятно, решили, что он спятил; некоторые, я думаю, не жалели сил, чтобы отговорить его. Он привел в порядок дела, упаковал мебель и уехал.

Капри — это суровая скала неприступного вида, омываемая темно-синим морем, но живая зелень виноградников украшает ее и смягчает ее суровость. Это ласковый, спокойный, приветливый остров. То, что Мэйхью обосновался в таком чудесном месте, удивляет меня, ибо я не встречал человека, менее восприимчивого к красоте. Не знаю, чего он искал там — счастья, свободы или просто праздности, — но знаю, что он нашел. В этом уголке земли, столь притягательном для чувств, он жил чисто духовной жизнью. Дело в том, что на Капри все дышит историей, и над ним вечно витает загадочная тень императора Тиберия. Из своих окон, выходивших на Неаполитанский залив, Мэйхью видел благородные очертания Везувия, меняющего цвет с каждой переменой освещения, и сотни мест, напоминающих о римлянах и греках. Прошлое завладело его мыслями. Все, что он видел здесь впервые — потому что он никогда раньше не бывал за границей, — волновало его и будило творческое воображение. Мэйхью был человек действия. Вскоре он решил написать исторический труд. Некоторое время он выбирал тему и наконец остановился на втором столетии Римской империи. Эпоха эта была мало изучена и, как ему казалось, выдвигала проблемы, сходные с современными.

Он начал собирать книги и вскоре стал обладателем огромной библиотеки. За годы своей адвокатской деятельности Мэйхью научился читать быстро. Он принялся за дело.

Вначале он часто проводил вечера в обществе художников и писателей в маленькой таверне на площади, но потом отдалился от них, увлеченный работой. Он успел полюбить купание в этом тихом, теплом море и далекие прогулки среди кудрявых виноградников, но мало-помалу, жалея время, отказался и от прогулок, и от моря. Он работал больше и усерднее, чем когда-либо в Детройте. Начинал в полдень и работал весь день и всю ночь, пока гудок парохода, который каждое утро ходит с Капри в Неаполь, не давал ему знать, что уже пять часов и пора ложиться.

Тема постепенно раскрывалась перед ним во всем своем объеме и значительности, и мысленно он уже видел труд, который поставит его в один ряд с великими историками прошлого. С годами он все больше сторонился людей. Его можно было выманить из дому, только соблазнив возможностью сыграть партию в шахматы или с кем-нибудь поспорить. Его увлекали поединки интеллектов. Он был теперь широко начитан, и не только в области истории, но и в философии, и в естественных науках; он был искусный полемист — быстрый, логичный, язвительный. Но он оставался человеком добрым и терпимым, и хотя победа доставляла ему вполне понятное удовольствие, он не радовался ей вслух, щадя самолюбие противника.

Он приехал на остров крепко сбитым, мускулистым человеком с шапкой черных волос и черной бородой; но постепенно кожа его приобрела бледно-восковой оттенок, он стал худым и слабым. Странная вещь: этот логичнейший из людей, убежденный и воинствующий материалист, презирал тело, смотрел на него как на грубый инструмент, который должен лишь исполнять приказания духа. Ни болезнь, ни усталость не могли помешать ему продолжать работу. Четырнадцать лет он трудился не покладая рук. Он исписал тысячи карточек. Он сортировал и классифицировал их. Он изучал свою тему вдоль и поперек, и наконец подготовка была закончена. Он сел за стол, чтобы начать писать. И умер.

Тело, с которым он, материалист, обошелся так неуважительно, отомстило ему.

Огромные накопленные им знания погибли безвозвратно. Не сбылась его мечта — нисколько не постыдная — увидеть свое имя рядом с именами Гиббона и Моммзена.

Память о нем хранят немногие друзья, которых с годами, увы, становится все меньше, а миру он после смерти неизвестен так же, как был неизвестен при жизни.

И все же, на мой взгляд, он прожил счастливую жизнь. Картина ее прекрасна и закончена. Он сделал то, что хотел, и умер, когда желанный берег был уже близок, так и не изведав горечи достигнутой цели.